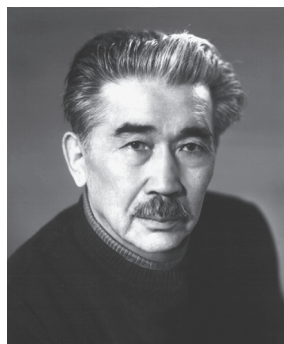


Саурбек
Бакбергенов



БЕРКУТЕНОК

*Моему старшему брату
охотнику Дауленбаю посвящаю*

Едва прослышав о том, что «в Балаторлане на скале Айтас свил гнездо беркут», старик Даукен почувствовал, как его сердце, которое давно уже пребывало в покое, не волнуемое ничем, вдруг защемило. А потом метнулось раз-другой, подобно рыбешке, играющей в мелкой воде. Даукен перевалился на другой бок. Приложив руку к груди, он вслушивался в биение сердца и думал: «Да что это с ним? Ишь, как расшалилось!» Все еще недоумевая, он попытался придержать дыхание, но тут же болезненно и глухо простонал и ясно ощутил, как что-то теснит ему грудь. Он стал потирать ее ладонью, старался перевести дух, то и дело глубоко вбирая в себя воздух. Глаза его пугливо и беспокойно бегали по комнате, словно не знали, на чем остановиться. Наконец его взгляд упал на висевшую у самой двери, плетенную в восемь полос камчу, с кнутовищем, вырезанным из таволги. Долго и бездумно смотрел он на свою многолетнюю спутницу, доставшуюся ему от деда, и не мог оторвать глаз. Таволга, что пошла на рукоять, тоже росла в Балаторлане. И вновь так явственно стало биение сердца, только теперь казалось, оно стало чуть сдержаннее и ровнее. Лишь кровь стучала в виски, и лоб покрыла испарина. Даукен провел рукой по лбу. Холодный пот под горячей ладонью казался ледяным. Слегка приподняв грудь, он скомкал кое-как большую подушку, сунул ее под бок и тогда, расположившись поудобнее, вернулся в мыслях к тому, что «в Балаторлане на скале Айтас свил гнездо беркут».

Только сейчас начал старик понимать, что же все-таки произошло. Беркут свил гнездо. И что с того? Какое дело ему, больному, до беркута? И что это за внезапная хворь нашла на него? Честно говоря, старость была единственной его болезнью. За свои шестьдесят с небольшим он никогда не страдал даже головной болью и не маялся ногами. Конечно, он слышал, что существуют поликлиники и больницы, но ведь ни разу не переступал их порога. Сколько помнит себя, с той поры, теперь уже смутно брезжащей ему издали, как степное марево, с той самой поры, когда делал первые шаги, он не оставлял седла. Ему едва исполнилось восемь, а он уже участвовал в скачках – сначала в состязаниях годовалых жеребцов, потом в



байге стригунков и трехлеток. Когда побеждал, когда приходил последним. Если конь оставлял всех позади себя – он радовался, словно сам опередил кого; а если терпел поражение, то, низко опустив голову и виновато пряча глаза, отходил в сторону. Таким и рос Даукен, считая радость побед и горечь поражений за свои собственные славу и позор. Даже ненадолго оставляя седло, он чувствовал себя сиротливо, словно обескрылившая птица. Скачки никогда не были ему в тягость. Легкий, подвижный мальчишка, на быстроногом коне, всегда держался немного в стороне от разгоряченного кокпара. Но именно поперек его седла ложилась с таким трудом добытая в схватке туша козла. Тогда он устремлялся к цели, и они не раз выигрывали кокпар, увозя добычу от преследователей. Прошло какое-то время, и уже трудно было узнать худощавого мальчишку в крепко сбитом парне, который, закатав рукава, бросался в самую гущу и суматоху кокпара. Он не переставал удивлять друзей тем, что был неутомим в дальних переходах и с рассвета до поздних сумерек мог держаться в седле прямо, как крепко вколоченный гвоздь. Даукен чувствовал коня по его шагу. А конь угадывал его мысли по малейшему движению коленей и ног, вдетых в стремена. Потому он и не отделял от жизни коня своей собственной. В его понимании человек без лошади – птица, лишенная крыльев. Он всегда считал, что джигита славит хороший конь, а охотника – хваткая птица да ловчая собака.

Как бы ни было трудно, Даукен никогда не выпускал из рук конской гривы. Одно время он пас совхозных лошадей, находя свое счастье в звонком, как колокольчик, заливистом ржании жеребенка, в шелесте конского хвоста и гривы в топоте конских копыт. Когда смотреть за табуном стало неважно, он все же остался работать в родном совхозе, помогал людям чем мог, объезжая пшеничные поля и сенокос. Короче, неизменно оставался в седле. А сегодня он просто отдышал.

Конечно, в последнее время у Даукена нет-нет да и побаливала поясница или ныло колено. Но ни то ни другое болезнью он не считал. По его собственному убеждению, эти боли с приближением старости приходят к любому, а что касается его самого, так ведь он столько лет провел верхом на лошади, не щадил себя, пытая силу и удачу в схватках кокпара, доде и салыме. Ох уж это сердце! – расшалилось и бьется, как рыба об лед! Он не знал, чем объяснить это смятение сердца, привычного к размеренному, твердому, как камень, шагу коня. Что пробудило, потревожило сердце, уже обретшее покой?! Да что же это такое?.. Подчас ему приходилось одолевать верхом по тридцать-сорок километров зараз, но никогда его не прошибал пот. Такой холодный пот...

Даукен сидел в растерянности. Вдруг черная борзая с белой грудкой, вытянувшаяся у его ног, заскулила во сне. Он посмотрел на собаку так, словно наконец-то нашел то, что так долго искал. Она видела сон. И во сне – дорогу.

Едва сердце начало отпускатъ, он приподнял голову и сел, поджав ноги. «Что со мной сегодня случилось? То ли духи предков прогневались, то ли просто спину свело. Такого со мной еще не было». Собака вновь заскулила. На этот раз в ее голосе ему почудилось что-то жалобное, как всхлипывание ребенка во сне. Ей снилась дорога. Так она повизгивала, когда ее пускали по следу зайца или лисы, а чаще – когда настигала их. «Я догнала, сейчас догоню, ну где же ты?» – словно говорила она. Борзая опять заскулила. Если человек не оседлает коня, а борзая не погонит зверя, то их сердца начинают жиреть, а глаза застит мутная пелена.

Черную борзую с белой грудкой звали Кумай. Если верить словам здешних стариков, борзая Даукена была рождена парой желто-пегих гусей, что каждый год гнездятся в Канымсае. Раз в десять-пятнадцать лет из яйца желто-пегого гуся выплывает сказочная собака. Если люди не успеют подобрать слепого щенка, гусь убивает его, выклевав глаза. Он не хочет, чтобы его бескрылое, не умеющее летать дитя стало рабом людей. Так попал в руки Даукена Кумай – детеныш желто-пегого гуся. А сейчас он грезил, видел сны и повизгивал. Какой бы она ни была – трудной или легкой, далекой или близкой, но ему снилась дорога.

И все же странно, какая связь меж беркутом, что свил гнездо на возвышающейся над Балаторланом скале Айтас, и борзой, повизгивающей во сне. Ведь говорят, что беркуты гнездились здесь еще с дедовских времен. Да и сколько помнил себя Даукен, охотники-беркутчи не раз брали птенцов со скалы и воспитывали прекрасных ловчих. Да что далеко ходить – его старший брат, старик Ракыш, приносил птенцов беркута с Канымсайского косогора, а то с молчаливых скал Балаторлана и Улкенторлана. Но сам Даукен птиц никогда не держал. Когда проходило время кокпара и салыма, он искал утешение в охоте. Тогда только он брал на руку ястреба или сокола с серебряным колпачком на голове. Время от времени он, держа борзую на поводке, охотился с ловчей птицей или метким огнем бил зверя.

Даукен по-прежнему недоумевал, почему это у него так защемило сердце, когда он услышал о гнезде беркута. И тут борзая в который раз заскулила. Теперь пуще прежнего, словно плакала, – она глубоко вбирала живот и то тихо всхлипывала то разражалась рыданиями. «Моя болезнь передалась Кумаю, – подумал он. – Человек и природа, человек и собака, человек и лошадь – все одна родня. Они чувствуют и понимают друг друга. И Кумай чувствует, как разыгралось, расшалилось мое сердце. До него дошло то, как дрожит и резвится мое сердце. Кумай чувствует мое сердце как собственное. Собачье желание – какие замечательные слова. Собака всегда желает своему хозяину только хорошее. В ее желаниях есть благородство. Кумай принял мои болезни. И вот теперь печалится обо мне». Ему стало жаль Кумая.

Ему стало жаль борзую. Сердце вновь охватила дрожь. Осторожно поднявшись, он подошел к Кумаю и опустил перед ним на колени. Он поглаживал ему голову, лоб, уши. Кумай приоткрыл глаза и посмотрел на хозяина. Потускнелый взгляд, веки слегка опущены. «Неужели он плакал», – подумал Даукен, заметив, как блеснула на поле теплого, верблюжьей шерсти, чапана, которым была покрыта голова борзой, прозрачная капля. Ему самому хотелось плакать, но он сдержался. Он приподнял голову Кумая, пристально посмотрел ему в глаза и проговорил: «Ну, что с тобой? Ты плакал? Может, что болит у тебя? Или сны дурные привиделись? Скажи мне, что за сны? А может, тебя настигли мои болезни?..»

Даукен какое-то время сидел и гладил Кумая, проводя рукой по лбу, потом по спине. А тот слегка потянулся и посмотрел долгим взглядом, словно ответил: «Я ничем не болен. Но то, что видел сон, так это правда, – и спросил в свою очередь: – Ну, а с тобой что стряслось, у тебя такое бледное лицо?»

Даукен, опираясь на колено, поднялся и вышел из дому. И Кумай вслед за ним. Оседлал лошадь. И Кумай стал собираться в дорогу – потянулся разок-другой. Он понял, что хозяин готовится в путь, ведь лошадь создана для бега и долгого пути. Даукен выехал из аула, не сказав никому, куда отправляется. Кумай бежал

следом. Ему не приказывали оставаться. Но и на поводок не взяли. Когда хозяин идет на охоту, то обязательно берет на поводок, и значит, он верно понял, что им предстоит обычная прогулка.

Выйдя в степь, Даукен и Кумай разом повеселели. Особенно радовалась этому борзая – она то забегала вперед, то приотставала, но далеко не отходила, а все время кружила вокруг всадника. Дорогой она поднимала из кустов стайки воробьев, вспугивала перепелок и подолгу, наострив уши, следила за полетом птиц, словно говоря «Ну, погляди, ты только погляди!», и вновь начинала рыскать по округе. И сейчас не было никакой нужды в пестрокрылой, белохвостой сороке, которая, едва завидев всадника с ружьем наперевес и с собакой на поводке, оповещала своим стрекотом всех об их появлении. Хватало Кумая... Подстерегая воробьев и птенцов перепелки, в небе кружил копчик. Через мгновение Даукен краем глаза заметил, как копчик спикировал на навозного жука, катившего золотистый шар. Вдалеке пасся большой совхозный табун, за которым он некогда присматривал. На одном из недалних холмов увидел бегущего барсука. Кумай заметил, что хозяин видит барсука, и замер, вопрошая: «Не погнать ли его?» Но тот ничего не ответил. И Кумай ограничился тем, что, приняв хавшись, брезгливо чихнул вслед вонючему барсуку. Весь путь до Балаторлана был наполнен жизнью, а что может быть прекраснее этого. Человек и природа – как близнецы, родня. Они понимают друг друга, наполняют друг друга счастьем, любят друг другом. В такие минуты ясно понимаешь неписанные законы и противоречия жизни и природы.

Даукен достиг Балаторлана после полудня. Коня он оставил пастись в поросшей густой травой низине, а сам пристроился под кустом таволги и стал наблюдать за скалой Айтас. Кумай, словно еще не набегался вдоволь, решил разнюхать все вокруг. Но Даукен подозвал его. Кумай послушно сел рядом. Теперь они уже в четыре глаза следили за скалой. Скала Айтас, на которой свил гнездо беркут, была открыта всем ветрам. Она хорошо просматривалась. Но никаких признаков жизни она не подавала. Безучастная, глухонемая скала не откликнется, покуда сам не подашь голос. Прокричишь – и она прокричит в ответ, умножит и возвратит твой голос. Но Даукен молчал. Он сидел молча, как истукан. Солнце медленно клонилось к вершинам гор. Но по-прежнему не было видно ни матери, ни отца, которые обычно то покидают гнездо, то возвращаются к нему. «Может быть, один из беркутов сидит в гнезде, а другой отправился на поиски пищи», – подумал Даукен.

Он не спускал глаз со скалы и размышлял. «Если мать осталась в гнезде, а отец улетел за добычей, значит, птенцы еще не вылупились. Но если нет обоих, значит, в гнезде есть птенцы». Шар-шар! – послышалось вдруг Даукену. Это был крик птенцов. И тут же на куст, под которым он притаился, упала большая четырехугольная тень. Он вскинул голову и увидел беркута. Птенцы, чувствуя, что тому пора уже возвращаться, еще издали слышали шорох его крыльев. Они голосят о том, заждались его.

Отец это или мать, Даукен разобрать не мог. Беркут, ничего подозрительного не замечая, кружил над скалой, широко распластав крылья.

Интересно, что это болтается у него на ноге – длинное, неужто веревка? Перья на крыльях редковаты, а белесый пух на груди слегка топорщится. Это была мать. Что же у нее на ноге? Может, когда-то она была ловчей птицей?

Несмотря на отчаянный писк птенцов, мать не сразу опустила на гнездо. Медленно снижаясь, она еще долго кружила над ним. И Даукен теперь только разобрал, что не было у нее на ноге никакой веревки – она сжимала в когтях аршинную змею. Старики говорили, что из птенцов, которых матери вскармливают змеиным мясом, вырастают самые сильные и самые хваткие птицы. Как видно, люди были правы. И это самая что ни на есть хищница. Смотрите-ка, и гнездо она устроила не на солнечной стороне, а на теневой, на самом сквозняке. Это тоже говорит о ее родовитости.

Сложив свои широкие крылья, как небольшое судно паруса, беркутиха опустила на край гнезда. Она уселась лицом к ветру. Она клекотала, словно говорила: «Посмотрите, что я вам принесла!», нетерпеливо переступала с ноги на ногу, встряхивала крыльями, то опуская их книзу, то подбирая. Постепенно птица успокоилась. Может, она радовалась тому, что птенцы целы и невредимы. Может быть, она, вынужденная в поисках пищи улетать далеко от гнезда, скучает по оставленным ею птенцам, подобно людям, подобно аруане, тоскующей по верблюжонку, который остался далеко позади, подобно кобылице, зовущей жеребенка, который ушел далеко вперед. И тогда, наверное, она думает о том, миновала ли ее гнездо беда, обошли ли его стервятник и бескрылые люди, охочие до крылатых беркутов.

Даукен просидел под таволгой до позднего вечера. Охотясь на зверя, он подолгу оставался в одиночестве, и потому у него вошло в привычку разговаривать с самим собой, а то с птицей, восседавшей на руке, или с собакой, ведомой на поводке. Вот и теперь он говорил с Кумаем, почесывая его за ухом! «Ну вот, Кумай, гнездо мы видели. Знаем, что в гнезде есть птенцы. Наверное, попытаемся достать одного из них, хотя дело это нам малознакомо... Пора возвращаться в аул. Главное, мы с тобой знаем теперь даже то, когда мать с отцом отлучаются. С раннего утра и до полудня они в заботах, значит, это самое удобное время для нас».

Размеренный шаг лошади и то, что он день целый пробыл на свежем воздухе, взбудрили старика. Однако ночью, ворочаясь в постели, он долго не мог уснуть. Всё вспоминал, как пала на него, притаившегося под кустом таволги, четырехугольная дрожащая тень небесной птицы, как прошелестели крылья и беркут опустился на гнездо. Наверное, таким и должен быть бог пернатых! «Да, такой птицы я еще не держал в руках! Но, как говорится, поживем – увидим...»

Прошла неделя, и Даукен вернулся в Балаторлан, но на этот раз хорошо снаряженным: на луке седла – длинный аркан, свитый из верблюжьего волоса вперемешку с конским, на руке – кожаная перчатка, а к седлу приторочен сетчатый бязевый мешок – для птенца. Кумая с собой он не взял. Не дай бог, когда приблизишься к гнезду, возвратится беркут, – тогда он, скорее всего, набросится не на человека, а на собаку.

Оставив лошадь далеко внизу, Даукен взобрался на самую вершину Айтаса. Когда смотришь на скалу снизу, она кажется крутой и неприступной. Привязав аркан к кусту таволги, он придавил его большими камнями, а другим концом обвязал себя за пояс. Он перевел дыхание и начал осторожно спускаться к гнезду. Ноги скользили по уступам, и несколько раз он, казалось, только чудом удерживался на скале.

И все же, когда он уже достиг цели, обе ноги разом соскользнули, и он беспомощно завис над пропастью, болтая ногами в воздухе и какое-то время тщетно пытаясь найти опору. Потом уже он увидел в гнезде двух желторотых, покрытых редким пушком птенцов. И сердце его вновь учащенно забилось. На лбу проступил холодный пот. Смахнуть бы – да не до этого. Вытянув шею, птенцы тянулись в небо раскрытыми клювами. Тогда Даукен пошарил рукой в гнезде, закрыв при этом глаза: мол, что в моих руках, то мое, – к чему выбирать?! Он выгреб из гнезда первого попавшегося под руку, покрытого белым пухом птенца и сунул его в мешок. Птенец вздыбился – словно подрост в одночасье, – больно резвым оказался он. Даукен, привязав мешок к поясу, стал медленно карабкаться наверх.

До года выхаживал он этого птенца. И в последнее время, можно сказать, ни на шаг не отходил от него, всё любовался уже окрепшим птенцом, чье желтоватобурое оперение было покрыто мелкими темными пятнами. Ноги его были схвачены ремешком, а на голове красовался кожаный наглазник. Верно говорят, «душа быстрее ловчей птицы», чудно, но чего только не жаждет она. «Зачем он мне нужен, когда настанет его пора, – все чаще думал Даукен, – достанет ли мне сил снять с его головы кожаный колпачок». Но беркутенок стал для него едва ли не единственной отрадой и утешением. Он только тем и занимался, что нежил и холил его.

Кумай тоже постоянно вертелся подле птенца, казалось, он ждал одного, когда же тот, наконец, повзрослеет, когда поднимется в небо и он бросится вслед за его летучей тенью. Птенец и борзая привыкли и крепко привязались друг к другу. И это немало забавляло Даукена. Когда он снимал с головы беркутенка кожаный колпачок, кладя перед ним пищу, тот устремлял на него пристальный взгляд искрящихся изумрудных глаз, словно вопрошал: «На что я тебе? Что собираешься делать со мной?»

Они стали друг другу совсем родными – Даукен, Кумай и беркутенок. Многие в птенце казалось забавным старому охотнику, доселе никогда не державшему ловчих птиц. Особенно прекрасны были его пронзительные как огонь глаза и как железо крепкие когти. Он весь был словно высечен из камня – округлые плечи, могучие саженные крылья, мускулистые ноги, словно обутые в щегольские, в обтяжку сапоги желтой кожи. Иногда он клекотал, требуя пищи. Обветренного, припахивающего мяса он не трогал. Ну, чем тебе не царь птиц, гордый и благородный! Стоило только снять с головы кожаный колпачок, как он тут же бросал взгляд в небо. Потом только оглядывался вокруг. Даукена изумляли его повадки, и в эти минуты он сожалел, что пленил такую родовитую птицу. Если есть в этом мире прекрасный, сотворенный прекрасным конь или беркут, почему мы так стремимся взнудать того коня, пленить ту птицу, думал он. Правда, конь – это особая статья. У него, помимо красоты, есть еще много работы. А беркута человек держит в неволе только из гордыни, только ради собственных утех и забав. Конь испокон веку создан для работы на человека. А беркут – это небесная перь, краса небес, бог крылатых. Грешно пленить его.

И однажды ему стало невыносимо от этой мысли, он ощутил, как заныло его тело, все существо его. Тогда он спешно оседлал коня, усадил беркута на руку и, позвав за собой борзую, вновь отправился в Балаторлан. В пути, как ни старался Даукен, но держать беркутенка должным образом он уже не мог. В его руках уже

не было прежней силы. Ныло предплечье. И он едва добрался до места, перекладывая руку, на которой восседал беркут, то на луку седла, то на холку коня. Рука затекла. «Душа моя, пусты твои надежды, и вздумалось же тебе охотиться с ловчей птицей, когда тебе за шестьдесят!»

Добравшись до скалы Айтас, он спешил. Опустив беркута, он пристально поглядел на него. Наверное, почувствовав горы и высоту, беркут сначала насторожился, а потом забеспокоился, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. И тогда по привычке постоянно разговаривать с беркутом или с собакой Даукен сказал: «Знаю, ты чувствуешь, что здесь твоя колыбель. Ты создан для того, чтобы украшать небо и эту косую скалу. А я пленил тебя ради собственной забавы, интереса ради. Но я ошибся. То время прошло для меня безвозвратно. Теперь нет нужды держать тебя в неволе, перехватывать ноги петлей, чтобы ты не улетел, надевать кожаный колпачок, чтобы ты не видел дали, – все это ни к чему. Крылья, жаждущие ветра, нежно шелестящие на ветру, даны для того, чтобы, взлетев высоко, летать, восходить кругами в синеву, свободно парить и опускаться в гнездо. Всё, чем одарила тебя природа, всё, чем могла наградить тебя судьба, я хотел у тебя отнять. Прости меня за это! Отныне ты свободен! Прощай!»

Он снял с беркута кожаный колпачок. Тот отряхнул крылья, и глаза его вспыхнули живым огнём. Затем старик неторопливо распустил петлю на ноге и приподнял деревянную сошку над головой. Он хотел помочь беркуту, но тот заторопился и не сразу встал на крыло: он едва не врезался носом в землю, но потом всё же взлетел. Даукен стоял неподвижно и, затаив дыхание, следил за его полетом. Казалось, вместе с этой птицей, возносящейся к небу, его покидало сердце. Кумай нерешительно посмотрел на хозяина, мол, что мне делать, можно ли бежать следом? Тот покачал головой. Собака жалобно повизгивала, не спуская глаз с беркута, направлявшегося к косогору. Но он ушел не сразу. Набрав высоту, беркут стал кружить над тем местом, где оставил своего хозяина. На голову Даукена пала объемистая тень птицы. Беркут поднялся на высоту гор и, сделав два-три круга, – казалось, он прощался с хозяином, – перевалил за холм и скрылся.

Долго еще перед глазами у Даукена стоял парящий в небе беркут. Конечно, крылья, а особенно предплечья, были у него не так крепки, как у сородичей, но придет время – и он непременно наверстает упущенное.

Прошло несколько недель. Однажды утром за чаем Даукен услышал частое повизгивание бродившего по двору Кумая. Отставив пиалу, он вышел из-за стола. Кумай не знает, что такое лай, и не станет визжать понапрасну, если только не почувствует что-либо или не увидит. Кому как не хозяину знать повадки своей собаки?! Значит, в степи что-то происходит.

Кумай повизгивал, глядя в небо. Даукен запрокинул голову. Высоко в небе, немного в стороне от аула кружили два беркута. Но если один, опускаясь, пытался приблизиться к аулу, то другой, подныривая под него, нещадно бил крыльями в грудь и тащил вверх. На первый взгляд казалось, они играли. Даукен сразу понял, в чем тут дело, и признал по взмаху крыльев беркутенка, которого растил весь год. Как видно, он стосковался по своей второй родине, по аулу. А беркут, что рядом с ним, учил его и предостерегал от возвращения.

Он терпеливо учил его всем приемам и законам полета. Он хотел, чтобы молодой беркут как можно скорее овладел наукой парить, кружить, стремительно бросаться вниз и, вновь поднявшись, пикировать, и, поджав крылья, быстро набирать высоту, и, подобрав их, камнем бросаться к земле в то место, куда целишь.

Беркутенок вновь направился в сторону аула, но второй беркут, стремительно бросившись вниз, поднял его. Он не давал ему воли и, преграждая путь, хотел увести его подальше, в горы. Да, как и на земле, есть в небесах свои неписанные законы. На какую бы высоту ни воспарил ты, смотри на того, кто рядом с тобой, на тебе подобного, как ты крылатого. И если он уступает тебе в чем – научи; если превосходит тебя – научись сам, не бей клювом, подопри крылом! На небесных путях не оставляй его позади себя, а пропусти вперед! Всему этому второй беркут учил беркутенка, не знавшего законов полета. Он предостерегал его от случайностей. В отличие от ручной птицы, просидевшей целый год на привязи, с колпачком на голове, лишенной возможности летать и видеть дали, этот беркут знал небесные тайны, видел даль, мог неустанно и подолгу парить в небе. Даже Даукену было видно его превосходство.

Так, глядя в небо, Даукен незаметно удалился от аула. Кумай неотступно следовал за ним. Они дошли до подножья горы, над которой парили беркуты, и взобрались на его вершину. Старый охотник чувствовал свою вину перед беркутеном за то, что тот уступает другому во всё. Но, главное, в силе и в умении. Раз ты не сумел, пустив на дичь, увидеть в нем радость, зачем тогда взял его из теплого родного гнезда, зачем целый год держал его в неволе? И даже имени ему не дал... Ему стало жаль беркутенка. Неужели ты это хотел увидеть в тот день, когда сидел, притаившись под кустом таволги у скалы Айтас?

Ему было жаль беркутенка. И он еще не знал, что ждет их впереди.

...Вдали показался небольшой почтовый самолет, каждое утро направлявший-ся в это время из областного центра в район. Скорее всего, беркутенок, заслышав знакомый ему едва ли не с первых дней жизни гул мотора, своим зорким быстрым глазом разглядел самолет еще издали, потому что вдруг резко развернулся и полетел ему навстречу. Другой беркут хотел было преградить ему путь, отвлечь и увести в сторону, но тот легкими, едва уловимыми движениями крыльев качнулся вправо, влево и ускользнул от него. Видимо понимая, что все равно ничего уже не изменить, второй беркут, изогнув крылья, стал плавными кругами забирать высь, чтобы уже оттуда, с высоты, наблюдать за происходящим.

В какой-то момент беркутенок, сложив крылья, кинулся круто вниз и начал преследовать самолет, пытаясь пристроиться ему в хвост. Однако приблизиться ему не позволила мощная струя воздуха, отбрасываемая самолетом. Горячее дыхание его ударило в грудь птицы.

Беркут повторил попытку догнать самолет.

Летчик, конечно же, видел всё это, но безрассудные, наивные попытки беркута посостязаться в скорости с его железной птицей только позабавили его. И, решив продолжить игру, он опустил почти к самой земле, потом неожиданно развернул машину и сделал широкий круг. На какое-то время он потерял беркута из виду. А тот, оказавшись теперь уже впереди самолета, готовился совершить очередной бросок.

«Что же ты делаешь, безумец, что творишь?» – вскрикнул Даукен, почувствовав, как сердце в груди у него оборвалось, и по телу пробежала леденящая дрожь. Вертевшийся рядом с ним и ничего подобного прежде не видевший, Кумай, глядя на встретившихся в небе двух птиц, прерывисто скулил, словно чувствовал недоброе, нервно переступал с ноги на ногу и суетился.

Для летчика этот маневр беркута стал полной неожиданностью. В последний момент заметив пикирующего прямо на него беркута, он еще пытался уйти от лобового столкновения и, прибавив газу, потянул на себя ручку штурвала. Самолет, задрвав нос и натужно гудя мотором, медленно потянулся вверх. Но уже было поздно. Беркут нырнул под самолет и врезался в днище...

Старый охотник только это и видел. Он опустил на землю и закрыл лицо руками – от переполнявших его горечи, обиды и стыда. «Это я во всем виноват, я и только я!» – без конца повторял Даукен, не смея поднять головы.

Беркут, беспомощно барахтаясь в воздухе, подобно гонимому ветром кусту перекати-поля, рухнул на землю, и Кумай, даже не испросив разрешения хозяина, пульей бросился к нему. Испуганно и растерянно озираясь по сторонам, беркут пытался расправить свои изувеченные крылья. Из носа у него тонкой струйкой бежала кровь, грудь была разодрана в клочья. Видя это, Кумай даже не заскулил – из груди его вырывались рыдания. Он стал искать глазами хозяина. Тот по-прежнему сидел на вершине холма – не в силах оторвать ладони от лица...

Кумай долгим взглядом смотрел вслед улетающему самолету. Высунувшись из кабины, летчик напоследок оглянулся на них, и Кумаю на миг почудилось, что не летчика видит он – остроносого, в черном шлеме и больших запыленных очках, а беркута, в украшенном серебром кожаном колпачке...

Такова история ловчей птицы, не знавшей законов времени и забывшей законы неба...

Перевод Кайрата Бакбергена

